

DOI: 10.31857/S032103910011673-3

СУЛЛА: САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ

Из работ последних лет

Интерес исследователей к личности Суллы по-прежнему велик, и среди круга тем, которые особенно привлекают внимание ученых в последнее время, — то, как он изображал себя и свои действия сам и как это делали другие. Ведь грозный диктатор был не только политиком и полководцем, но и писателем, чья монументальная автобиография оказала немалое влияние на последующую литературу о той эпохе.

Именно этому сочинению посвятила свою диссертацию Фиона Ноубл, озаглавив ее «Сулла и боги: религия, политика и пропаганда в автобиографии Луция Корнелия Суллы»; основная часть этой работы представляет собой комментарий к соответствующим фрагментам его записок¹. Автор признает, что они были частью общего литературного процесса: воспоминания писали Лутаций Катул, Эмилий Скавр, Рутилий Руф, и Сулла, возможно, взялся за автобиографию под влиянием Катула (такого же, как и он, врага Мария, что не могло не импонировать Сулле). У Катула он, как полагает Ноубл, позаимствовал не только форму автобиографии, но и те возможности, которые открывал этот жанр в период смуты. Однако труд Суллы сильно отличался от названных: в нем можно усматривать «сочетание двух линий, которые развивались в рамках нарождавшегося жанра автобиографии: Сулла объединил непосредственные политические выгоды, которые видел в автобиографии Катула, с более солидной литературной обработкой у Скавра и Рутилия, чтобы создать труд, способный затмить их всех по объему и охвату материала» (с. 14). Вполне вероятно, что Сулла пользовался заметками, которые делал во время прежних кампаний; он также не только привлекал, но и напрямую цитировал записки Катула, тогда как другие мемуаристы чужих автобиографий не цитировали (что вполне вероятно, хотя, заметим, у нас нет полного текста каких-либо воспоминаний того времени) (с. 7–15, 56).

Суллу, по-видимому, весьма интересовало отношение к нему современников, раз он до последнего момента продолжал работать над записками. Ноубл считает, что в отличие от прежних мемуаристов, которые прежде всего старались подчеркнуть свою роль в событиях, Сулла особое внимание уделил самозащите, опровержению неблагоприятных сведений о себе (суждение спорное, ибо наверняка, а о событиях или группе таковых, а главная идея его мемуаров заключалась в демонстрации того, что их автор — любимец богов, и в этом также состояло его новаторство).

Данных о названии воспоминаний Суллы мало. В центре его мемуаров — *res gestae*, поэтому они могли называться *Res gestae L. Cornelii Sullae*, *Libri rerum gestarum L. Corneli Sullae* или *Commentarii de rebus gestis suis L. Corneli Sullae*. Но использовать название *Res gestae* неверно, ибо может сложиться впечатление, что так записки диктатора назывались изначально. Это и не совсем мемуары, ибо не все их атрибуты приложимы к труду Суллы: перед нами рассказ не обо всей его жизни и карьере, а о событиях или группе таковых, где их автор играл ведущую роль (с. 25–30).

По мнению Ноубл, сочинение Суллы не превращалось в прямую апологию автора (думается, как раз наоборот), но в нем критически рассматривались некоторые неблагоприятные для него сюжеты и сведения. «В этом отношении автобиография [Суллы] была одной из первых изощренных попыток индивида лично контролировать и указывать, как другим воспринимать его через письменный текст» (с. 43).

¹ Noble 2014, комментарий см. 44–237.

Весьма важен вопрос о влиянии записок Суллы на последующую традицию. Ноубл отвергает подход, при котором цитата из них или ссылка рассматриваются как свидетельство того, что содержащий ее пассаж заимствован из того же источника. Античные авторы цитировали его текст в своих целях, не стремясь точно передать данные, излагаемые Суллой; многое из того, что принимают за его сообщения, может восходить не к нему, а к просулланским авторам (с. 39, 41, 66).

Значительное место в автобиографии диктатора занимали рассуждения о *felicitas*, где автор описывал и подробно определял свое понимание этого концепта. Ноубл принимает точку зрения Р. Льюиса, согласно которой первая книга автобиографии была посвящена обсуждению ее автором роли *felicitas* в его жизни. Мало что указывает на использование Суллой термина *felicitas* для обозначения абстрактного божества, *Felicitas*, с которой у него были особые отношения. Сама по себе *felicitas* возможна только при благоволении богов, а потому выражение *felicitas divina* (у Плутарха *εὐτυχίαν τινὰ θεῶν*) явно избыточно. Возможно, это трактовка Плутархом точки зрения Суллы и его презентации *felicitas*. Трудно сказать, когда именно начал использоваться агномен *Felix*, но Сулла подает все так, будто *felicitas* была ему присуща всегда (с. 53, 90–94, 99, 225).

Важную роль в концепции *felicitas* у Суллы играли неоднократно упоминаемые им сны, которыми, если верить ему, он руководствовался как «посланиями» божества в принятии решений и то же советовал Лукуллу, возможно, видя в нем человека, обладавшего (или способного обладать) *felicitas*. Римлянам такое отношение к сновидениям было несвойственно, а потому и здесь Сулла оказался новатором – убийство сограждан, т.е. очевидный акт гражданской войны (феномена для Рима, заметим, тоже нового) он мог тем самым преподнести как исполнение воли богов, явленной ему во сне (Plut. *Sull.* 6. 10; 9. 7–8; с. 89, 99–102, 117–118).

Нетривиальной была и наглядная пропаганда Суллы. Он установил трофеи в честь побед над понтийцами при Херонее и Орхомене, на которых вопреки обычной римской практике велел выбить надписи не на латинском языке, а на греческом, упомянув в них Ареса, Нику и Афродиту. Перед нами «первый случай, когда эти три божества появляются в виде триады в греческом или римском контексте» (с. 166). Вполне возможно, сам Сулла именовался в надписи Эпафродитом, но не очевидно, что он имел в виду подчеркнуть особую связь с Афродитой/Венерой: его отношения с богами носили куда более многообразный характер – значительную роль в них занимали и другие небожители, такие как Аполлон, Беллона, Геркулес. Сулла не только поставил эти трофеи, но и выбил их изображение на монетах: на знаменитой серии *RRC* 359, где явил еще одно новшество, впервые поместив на них в качестве парного символа посох и кувшин (*lituus*). Ф. Ноубл считает наиболее непротиворечивым объяснение М. Кроуфорда², согласно которому это был намек не на авгурат, поскольку Сулла еще не стал авгуром, а на куриатный закон, который наделил его империем, и тем самым оспаривалось его объявление *hostis* (с. 160–172). Упомянутые трофеи, по мнению Ноубл, были среди прочего и ответом Суллы на обвинения в том, будто он выиграл битву при Херонее с помощью сговора с Архелаем (автор усматривает здесь параллель с Марием, которого ненавистники пытались лишить славы победы при Верцеллах). Одним из элементов антисулланской версии отношений будущего диктатора с понтийским военачальником был и слух о том, будто именно в угоду последнему Сулла казнил афинского тирана Аристиона, что явно не соответствует действительности. Ноубл обращает внимание, что Архелай бросился в ноги Сулле, когда тот с гневом отверг попытки понтийца смягчить для Митридата условия мира, хотя римлянин такого унижения вовсе не требовал – возможно, перед нами часть его «царского» образа, как и в сцене переговоров с парфянами, когда Сулла сел между Ариобарзаном и Оробазом (с. 185–191). Думается, однако, дело здесь не в царском образе: в обоих случаях будущий диктатор стремился показать, что отстоял честь Рима.

Довольно странно, как нам кажется, звучит и трактовка рассказа Суллы (насколько его можно восстановить по источникам) о событиях, предшествовавших его маршу на Рим. Он, по словам Ноубл, признавал малоприятный факт посещения во время беспорядков на Форуме дома своего злейшего врага – Мария, но подчеркивал, что не бежал туда, а добровольно явился обсудить возникшую ситуацию. После же переговоров Сулла (очевидно, подозревая подвох) успел прибыть к армии раньше трибунов, которые должны были передать командование над

² Crawford 1974, 373–374.

его армией Марию. В целом из его рассказа создается впечатление, что он держал события под контролем, продумывая каждый шаг. При этом Ноубл полагает, будто Сулла в целом верно изображал происходившее, поскольку многие из читателей его мемуаров были современниками этих событий (с. 141–148).

Такая логика вызывает сомнения. Сулла утверждал, что его привели в дом Мария, угрожая мечами, люди Сульпиция (Plut. *Marc.* 35. 4), но Ноубл считает такой шаг добровольным, что противоречит смыслу этого слова. Кроме того, отнюдь не очевидно, что Сулла подозревал обман со стороны Мария и нарочно спешил к армии, чтобы обогнать трибунов, — это лишь догадка Плутарха, который писал почти через 200 лет после событий, зная, чем они закончатся. Наконец, то, что многие читатели Суллы были современниками событий, никак не мешало ему искажать происходившее: трудно представить, чтобы они в то время выступили с опровержением сулланской трактовки событий.

Однако при рассмотрении вопроса о взятии Афин Ноубл признает, что попытки Суллы изобразить свое поведение как мягкое в отношении афинян неубедительны, равно как и мнение, будто на эти его действия обычно смотрят сквозь призму проскрипций (ведь после взятия город получил «свободу») — как показывают данные археологии, Афины подверглись значительным разрушениям. Правда, победитель все же не уничтожил Афины и их жителей полностью, что и нашло отражение в его мемуарах, однако на образ Суллы в глазах греков его расправа с Афинами (наряду с конфискациями храмовых сокровищ) повлияла сугубо отрицательно (с. 152–155; подробнее см. ниже при анализе книги А. Экерта).

Куда более сложен вопрос о пожаре, погубившем храм Юпитера Капитолийского. Почему Сулла вообще упомянул об этой неприятной истории? Ведь он, согласно предсказанию, мог спасти святилище, если бы поспешил, но не сделал этого. По мнению Ноубл, Сулла хотел защититься от обвинений в поджоге храма через своих агентов, в чем его подозревали. Он не стал ссылаться на недостаток *felicitas*; единственный известный нам случай такого рода — это его сожаления, что он не успеет освятить этот храм после восстановления (Plin. *NH.* VII. 138). Как полагает автор, Сулла свалил всю ответственность на Карбона и Мария Младшего, с которыми ему пришлось сражаться вместо того, чтобы идти спасать храм Юпитера (с. 192–200). Стремясь представить врагов в наихудшем свете — ведь именно они помешали уберечь главное святилище Рима, — Сулла, похоже, не замечает, что эти обстоятельства можно объяснить и так: *felicitas* оставила Суллу, коль скоро он не успел разбить врага и подойти к Риму.

В заключение Ноубл указывает, что автобиография была попыткой Суллы возвеличить себя, которая, однако, в значительной степени потерпела неудачу: многие его законы скоро отменили, созданная им система пала; насколько широкую аудиторию имели записки диктатора, неизвестно, во всяком случае, образ их автора в памяти потомков остался отнюдь не таким, как хотел он сам. Созданный им автопортрет явно не был убедителен, коль скоро Сенека задавался вопросом, *qualis Sulla fuerit* (*ad Marc.* 12. 6); не сомневались, пожалуй, лишь в его *felicitas*. «Тем не менее это был важный интеллектуальный порыв»: Сулла был не первым, кто написал автобиографию, но он впервые вел пропаганду столь целенаправленно и с помощью столь широкого набора средств (литературы, архитектуры, монументов, памятников, монет, надписей), стремясь переосмыслить недавние события. «Сведение различных элементов самопрезентации в один связный рассказ было исключительно важным предприятием. Если бы текст автобиографии дошел до нас, можно только гадать, насколько глубоко изменилось бы наше представление об этом бурном периоде». Но даже сохранившиеся фрагменты являются одним из значительных текстов той эпохи (с. 227–233).

Несомненно, диссертация Ноубл представляет собой интересный опыт трактовки фрагментов автобиографии Суллы, и многие ее наблюдения и гипотезы весьма любопытны. В то же время стоит отметить, что влияние воспоминаний диктатора на античную традицию, действительно очень серьезное, было достаточно своеобразным, учитывая крайнюю пристрастность их автора, нисколько не считавшегося с фактами, если они противоречили его представлениям о себе.

С диссертацией Ноубл во многом тематически перекликается монография Александры Экерст «Луций Корнелий Сулла в памяти древних»⁴. Как отмечает исследовательница, в нау-

³ Именно на это указывает Страбон (IX. 1. 20), умалчивая при этом о разорении Афин и резне (с. 151–152).

⁴ Eckert, 2016.

ке доминирует мнение, что в античной традиции образ Суллы носил отрицательный характер. *Exempla* в античной литературе имели целью явить не только положительные, но и отрицательные примеры, чтобы напомнить о тяжких нарушениях принятых в обществе норм его членами. Одним из таких нарушителей и был Сулла, чье поведение оказалось включено в культурную память древних (с. 7–9).

Как и Ноубл, Экерт уделяет немалое внимание *felicitas* Суллы, которая упоминается в каждом третьем сохранившемся фрагменте его автобиографии. Конечно, нужно различать время, когда происходили события, связанные с его *felicitas*, и время написания им автобиографии. Но ясно, что Сулла задолго до ее создания начал наглядно демонстрировать свое счастье и благоволение богов к нему, назвав, в частности, своих детей редкими в то время именами Фавста и Фавсты, а в 82 г.⁵ открыто приняв прозвище *Felix*. Однако это было явным нарушением римских традиций, поскольку, как отмечал Цицерон (*De imp. Pomp.* 47), никто не должен сам приписывать себе *felicitas* — это может прогневить богов; обладает человек ею или нет, решают окружающие, и конная статуя Суллы на форуме с надписью *SVLLA FELIX DICTATOR* подчеркивала его пренебрежение нормами. Отрицательно оценивали претензии Суллы на *felicitas* и в последующее время: Веллей Патеркул (II. 27. 5) говорил, что тот мог бы считаться счастливым, если бы умер в день битвы у Коллинских ворот, а Валерий Максим (VI. 4. 4) и Сенека (*Dial.* I. 3. 7–8) сравнивали Рутилия Руфа и Суллу, отдавая предпочтение первому — Рутилий отказался вернуться из изгнания, чтобы не видеть «счастливого» правления Суллы; Светоний (*Tib.* 59. 2) приводит ходившие по Городу стихи против Тиберия, где среди прочего говорилось, что Сулла был счастлив несчастьем Рима, и т.д. Общий смысл сводился к тому, что не может быть счастлив тот, кто приносит несчастье *res publica*, а прозвище *Felix* стало признаком единичного правителя в Риме.

Неудивительно, что императоры первых двух веков Принципата старались публично не связывать свое имя с *felicitas*, а когда Плиний Младший сообщает, как сенат воскликнул, обращаясь к Траяну, ‘*o te, felicem!*’ (*Paneg.* 74), то добавляет, что важно не только обладать *felicitas*, но и считаться достойным ее. Тотчас же ставится риторический вопрос, не даровать ли Траяну прозвище *Felix* официально, но тут же дается ответ, что оно будет говорить лишь об удаче принцепса, а не о его моральных качествах. При Флавиях и Антонинах на монетах чеканились легенды *FELICITAS AVGVSTI* и *FELICITAS PVBLICA*, и лишь Коммод стал величать себя *Pius Felix* — именно в таком сочетании. Септимий Север от подобного именования воздержался, однако после его смерти Юлия Домна стала зваться *IVLIA PIA FELIX AVGVSTA*, а со времени Каракаллы *PIVS FELIX* прочно входит в состав императорской титулатуры. Любопытно также, что потомки Суллы продолжали зваться *Felices*, но их «счастье» было относительным, учитывая участь убитого по приказу Нерона Фавста Суллы. Весьма вероятно, что именно они, сохраняя значительное влияние и при Юлиях—Клавдиях, препятствовали распространению слухов о смерти диктатора от фтириза, недаром первое дошедшее до нас сообщение о нем появляется лишь у Плиния Старшего, который отмечает, что Сулла стремился скрыть свою малопочтенную болезнь. Очевидно, лишь после того как пресекался его род, об этом стали говорить более открыто (с. 61–86).

Если прозвище *Felix* прочно закрепилось за Суллой и его потомками, то греческий аналог, *Eutyches*, в эллинском культурном мире особого распространения не получил. Иначе обстояло дело с прозвищем Эпафродит, которое Сулла, судя по надписям и монетам, стал использовать с 84 г. Диодор, возможно, увидевший надписи, где тот именовался Эпафродитом и диктатором, усматривал связь между прозвищами *Felix* и Эпафродит, ведь *felicitas* — способность одерживать победы с помощью богов (*Diod.* 38/39. 15. 1). Плутарх видел тут несколько иную связь: человеку, чтобы избежать зависти окружающих, стоит хотя бы отчасти приписывать свои успехи милости богов; Суллу он приводит в пример такого поведения (*Sull.* 34. 3; *Mor.* 542F). В свою очередь, Аппиан (*BC.* I. 97), на словах разделяя точку зрения Диодора и Плутарха⁶, дает понять: такая связь ни для него, ни для его читателей не очевидна (с. 128–131).

Любопытны наблюдения Экерта по поводу связи Ареса и Афродиты в пропаганде Суллы. Оба эти божества наряду с Никой присутствуют на херонейском трофее. Афродита ассоциировалась с римской Венерой и ее плодородием, а отсюда — с римскими представлениями

⁵ Здесь и далее, если не оговорено иное, все даты — до н.э.

⁶ При этом Аппиан ошибочно утверждает, будто Сулла взял прозвище Фавста (с. 130–131).

о felicitas. Цепочка Эпафродит – Афродита – Венера – felicitas – Sulla Felix современникам Суллы была понятна. Афродита (Венера) – родоначальница римлян, отсюда связь с претензиями римлян на господство в Греции как продолжение Троянской войны и, следовательно, с губительным Аресом. Однако в автобиографии Сулла говорил лишь о позитивных качествах этого бога, т.е. боевой мощи. (Здесь Экерт явно не учитывает, что одно начало не противоречит другому. Кроме того, мемуары диктатора дошли до нас лишь в отрывках, и мы не знаем, что могло на сей счет содержаться в несохранившихся частях.) Для представлений эллинов о Сулле характерна написанная Эриkiem от имени погребенной в Кизике афинянки эпитафия, где та жалует, что ее насильно переместили в Рим по воле «губительного италийского Ареса» (λογὸς Ἄρης Ἰταλῶν: *Anth. Gr.* VII. 368). И хотя Сулла прямо в эпиграмме не назван, весьма вероятно, что речь идет именно о нем, поскольку он был единственным римлянином, силой захватившим Афины.

Примечательно, что в Беотии, сильно пострадавшей от Суллы, культовая связь между Афродитой и Аресом осознавалась сильнее, чем в других областях Греции. Впрочем, было место, где о грозном римлянине сохранилась не худшая память, – святилище Амфиарая в Оропе. По мнению Экерта, именно оттуда, а не из Дельфы, как часто считают, получил он цитируемый Аппианом оракул с пожеланием слать дары Аполлону (т.е. храму; *BC.* I. 97. 453). В Амфиарайоне толковали сны, при этом часть алтаря в храме была посвящена Афродите. Возможно, Сулла остался в святилище на ночь и, как он счел, разгадал собственный сон, увидев Афродиту в рядах своих воинов. На основании этого оракула Сулла назначил ежегодный доход Дельфам с бывшей фиванской земли и послал золотую секиру в Афродисиаду. В Оропе чтит его память (Амфиарайон получил привилегии от него), о чем свидетельствовали статуи Суллы и его жены Метеллы (с. 91, 132–137).

Куда более подробно, чем Ноубл, останавливается Экерт на поведении Суллы в отношении Афин и позиции античных авторов в этом вопросе. Сам Сулла считал одной из главных удач в своей жизни то, что не разрушил город Паллады, тогда как Лукулл, которому он посвятил автобиографию, не смог спасти от сожжения Амис и говорил, что судьбою ему была уготована слава Муммия (*Plut. Luc.* 19.5). Сулла же не только не уничтожил Афины, но и сохранил их как полис с прежним устройством, тогда как погубитель Коринфа навязал другим городам Эллады новый порядок управления. Страбон, как уже говорилось, о резне и разрушениях умалчивает, другие же писатели много говорят о них. Плутарх описывает потоки крови и вспоминает в связи со взятием Афин Девкалионов потоп, используя однокоренные слова *κατακλύζω* и *κατακλυσμός* (*Sull.* 14. 6 и 10), тем самым, по мнению Экерта, давая понять всю абсурдность заявления Суллы о том, что он пощадил Афины. Аппиан порицает Суллу за избиение даже женщин и детей, в результате чего лишь немногие уцелели и смогли воспользоваться дарованной им «свободой»; упоминает, что Пирей и верфи погибли в огне. Особенно суров в своих оценках Павсаний (чего стоит рассказ об уничтожении каждого десятого из загнанных в Керамик афинян). «Греческий автор не находит ни одного доброго слова для Суллы. Это весьма примечательно, поскольку в своем труде он полностью воздерживается от отрицательных оценок в адрес римлян» (с. 94); Павсаний полагает, что Сулла был более жесток, нежели приличествовало римлянину (I. 20. 7). Как показывают раскопки, город действительно подвергся беспощадному разгрому: был разрушен Эрехтейон, сильно пострадали Царская стоя и здание гелизи. Сказалось завоевание и на экономике Афин, которые теперь начали сами в немалом количестве ввозить высококачественную керамику. В Афинах перестали функционировать школы академиков и перипатетиков. Греческие авторы порицали Суллу за то, что тот покарал за вину тирана Аристииона всех афинян, и это суждение воспринял Веллей Патеркул. В то же время он не обвинил прямо Суллу во лжи за возложение ответственности на всех жителей города – возможно, из-за упоминавшегося выше влияния потомков диктатора.

Любопытна позиция Цицерона. Он не упоминает о прекращении деятельности Академии после 86 г., изображая дело так, будто там по-прежнему немало посетителей (*Fin.* V. 1–3). Оратор не мог не видеть разрушений в Афинах, но предпочел умолчать о них – по-видимому, это была табуированная тема для римлян; сам же Сулла постарался изобразить в мемуарах дело так, будто его действия вполне соответствовали римским нормам (с чем, заметим, трудно не согласиться). Как полагает Экерт, после разрушения Коринфа многие представители римской элиты рассматривали полное уничтожение крупных городов Эллады как нечто неприемлемое. Сулла хотел создать впечатление, будто следовал этому правилу, тем более что речь шла о таком важном цен-

тре, как Афины. Однако и греки, и те римляне, которые бывали в Афинах после 86 г., видели, что на деле он поступил иначе, но римляне предпочитали на сей счет хранить молчание (с. 90–100).

Естественно, осталось в памяти греков и уничтожение городов Беотии, чьих жителей Сулла обвинял в измене, хотя их позиция обуславливалась скорее суровой необходимостью — понтийцам они сопротивляться не могли. Правда, помнили об этом преимущественно в самой Беотии, поэтому о гибели Галей, Анфедона и Ларимны сообщает только Плутарх (*Sull.* 26. 6–8) в рассказе о шутке Суллы при разговоре с местными рыбаками, являющей образец цинического юмора. Павсаний пишет о горестной судьбе Фив, так и не оправившихся от сулланского разорения, и о недостойном римлян обращении с Орхоменом. После похищения весьма почитаемой статуи из храма Афины в Алалкоменах тот пришел в упадок (Paus. IX. 7. 5–6; 33. 5–6). Помимо беотийских святилищ, пострадали и куда более крупные — в Олимпии, Эпидавре, Дельфах; греческие авторы подчеркивают отсутствие у Суллы всяких угрызений совести и пietetа при конфискациях в храмах. Особо осведомленный Плутарх (он сам был дельфийским жрецом) помимо различных деталей, связанных с изъятием храмовых богатств, добавляет от себя сравнение Суллы с прежними римскими полководцами, державшими армию в узде, тогда как он наложил руку на имущество богов ради угождения воинам (*Sull.* 12. 5–14). Диодор указывает, что в Олимпии Сулла захватил сокровищ больше, чем фокияде в IV в. в Дельфах (38/39. 7), и тем самым уподобляется им. При этом остается открытым вопрос, возместили ли убытки Дельфам фиванские земли, переданные им специально с этой целью. Павсаний (IX. 33. 6) именно с разграблением храмов связывает вшивую болезнь Суллы (с. 102–110).

Не менее сурово порицают античные авторы и жестокое обращение с городами и святилищами Малой Азии. Финансовые тяготы, обрушившиеся на ее полисы и их жителей (помимо контрибуции еще и постои), подтверждаются данными эпиграфики и нумизматики; только Эфес мог после войны чеканить серебряную монету. Экерт подчеркивает, что если Митридат заплатил лишь 3000 талантов контрибуции, то с городов Азии Сулла потребовал 20 000 (с. 111–119).

Римляне же, конечно, больше помнили о сулланском терроре, восприятие которого Экерт описывает, пользуясь терминологией Дж. Александера, как «культурную травму», приводящую к фундаментальным и длительным изменениям в обществе, ее пережившем. Важнейшую роль в укоренении тех или иных трагических событий (*horrendous event*) в сознании общества именно как такой травмы играют люди, которых Александер именует *carrier groups*: они создают единообразное описание соответствующих событий (*master narrative*, элементы которого содержались и в сочинениях многих авторов имперского времени). В случае с Суллой это могли быть те, кто ускользнул от сулланских охотников за проскриптами (самый известный из них — Цезарь)⁷; члены семей жертв, очевидцы расправ, особенно сыновья убитых, лишившиеся не только отцов, но и права на политическую жизнь; наконец, жители особо пострадавших италийских городов — Сульмона, Арретия, Волатерр. Представление о сулланском терроре создавалось не только числом жертв, но и бесконтрольностью убийств⁸, притом что после введения проскрипций ситуация изменилась лишь частично, поскольку *tabulae* время от времени пополнялись; кроме того, расправа с самнитами на *Villa publica* была произведена в нарушение данного Суллой слова. Убийство Офеллы (Афеллы) показывает, что даже приближенные диктатора не могли чувствовать себя в безопасности. Как следует из текста Цицерона, «произвол и жестокость сулланских проскрипций угрожали главным ценностям римского общества — мягкости и человечности» (с. 151). Кроме того, причиной убийств служила жажда обогащения: рабы получали награду за доносы на господ, сыновья — за предательство отцов, и т.д., что разрушало общественные устои; Цицерон (намекami) и Валерий Максим (уже открыто) уподобляли Суллу Ганнибалу (с. 139–168)⁹.

Память о проскрипциях надолго осталась в умах римлян: Цезарь подчеркивал, что будет поступать мягко, а не так, как Сулла; Цицерон, не желая восхвалять *clementia Caesaris*, в то же время боялся террора наподобие сулланского; отличие своих проскрипций от сулланских под-

⁷ Заметим, что принадлежность Цезаря к числу проскриптов многократно (и небезосновательно) ставилась под сомнение (литературу см. Ridley 2000, 221, n. 32).

⁸ Экерт принимает весьма спорную точку зрения Х. Хефтнера, который вслед за Плутархом (*Sull.* 31.1) и Орозием (V. 21. 1) считает, будто проскрипциям предшествовали массовые и бесконтрольные убийства (Heftner 2006, 33–52).

⁹ Cic. *Rosc. Am.* 88–89; Val. Max. IX. 2. 1.

черкивали и триумвиры, хотя в действительности их действия были ничуть не лучше; произвол и насилие, творившиеся во время проскрипций триумвиров, как предполагает Экерт, углубили в культурной памяти римлян нанесенную Суллой травму. Тиберий в надгробной речи Августу постарался обойти этот вопрос, а Августин и Орозий противопоставляли милосердие первых христианских правителей Рима (тем самым подчеркивая превосходство своей религии) жестокости Суллы (с. 168–173).

Даже отказ Суллы от власти вызвал по преимуществу критическое отношение, хотя и по разным причинам; всего Экерт выделяет три подхода: 1) Сулла подвергал себя опасности; 2) хотя Сулла и совершил тем самым нечто неслыханное для тирана, это не отменяло совершенных им насилий и жестокостей¹⁰; наконец, 3) Сулла, отказываясь от власти, ставил под угрозу стабильность в государстве. Неудивительно, что время его господства рассматривалось как поворот к худшему: Сулла не просто развязал гражданскую войну, присвоил власть и устроил неслыханный террор — он подорвал общественные устои и не обеспечил прочности *res publica* (с. 190–197, 216).

Несомненно, Экерт проделала немалую работу, проанализировав и нарративные, и эпиграфические, и нумизматические, и археологические источники. В целом с ее наблюдениями и выводами нельзя не согласиться, однако важны пропорции: в книге преобладает обвинительный уклон, и хотя оснований для него более чем достаточно, в научном отношении он (как, впрочем, и апологетический) таит в себе опасность — оказались упущены некоторые выигрышные для Суллы аспекты его деятельности¹¹.

Несколько иной угол зрения у Пьера Ассанмаке. В его монографии «От победы к власти: развитие и проявление императорской идеологии в эпоху Мария и Суллы» анализируется религиозный аспект пропаганды обоих политиков¹². Мария и Суллу можно считать в известном смысле предшественниками Цезаря и Августа. Особенности самопрезентации и пропаганды последних (особенно Августа) уделяется сравнительно много внимания, что не в последнюю очередь объясняется обилием источников. Однако концепции, сформулированные для более поздних эпох, способны повлиять на восприятие предшествующих и зачастую не столь богатых источниками периодов. Эта особенность историографии в полной мере осознается автором, поэтому он опирается на современный исследуемому периоду материал — преимущественно монеты и надписи.

Ассанмаке принимает популярную идею, что для идеологического климата тех лет были характерны апокалиптические настроения, связанные в числе прочего с провозглашением гаруспиками «нового века». Это способствовало появлению типа *imperator*’а, способного убедить массы в благосклонности к нему богов (с. 46). Учащаются обращения к образу Аполлона, который до этого времени не привлекал особого внимания римлян. Нарративные источники сообщают о роскошных играх в честь Аполлона во время претуры Суллы. Также Аполлон внезапно начинает появляться на многих монетах; иногда это можно объяснять родовой пропагандой *triumviri monetales*, однако таких случаев не так много. Здесь уместно задаться вопросом о смысловой нагрузке образа Аполлона в рассматриваемый период. Ассанмаке не согласен с А. Альфельди, который считал, что изображение Аполлона символизировало наступление золотого века, а также связь Аполлона с пророчествами и кумской сивиллой, — этот аспект в его культе появляется только в 60-х годах. Для прояснения функций этого божества в римском пантеоне исследователь обращается к обстоятельствам учреждения игр в честь Аполлона и приходит к выводу, что Аполлон прежде всего — бог победы, и именно в этом контексте следует рассматривать обращение к его образу политиков 90–80-х годов. В случае Суллы это, конечно, были особенно пышные *ludi Apollinares*, включавшие *venationes* со львами. Ассанмаке видит в этом своего рода имитацию триумфа и апелляцию к царской идеологии в эллинистическом духе (с. 83). Впрочем, Суллу с *ludi Apollinares* в некотором смысле связывала и семейная традиция, поскольку первые такие игры были организованы его прадедом. Чеканку монет

¹⁰ При этом Дионисию Галикарнасскому приписывается отрицательная оценка отказа Суллы от власти (*AR. V. 77. 1*), хотя у Дионисия речь идет (в *V. 77. 4–5*) об оценке диктатуры Суллы в целом.

¹¹ Прежде всего полководческий (Vaucher 2017), отчасти законодательный и литературный.

¹² Assenmaker 2014, 48–95, 135–305.

с изображением Аполлона Ассанмаке склонен объяснять реакцией других родов (например, Кальпурниев), также связанных с Аполлоном, на сулланскую пропаганду.

Ассанмаке обращается к значению термина *imperator*, подчеркивая, что в первую очередь это должностное лицо, наделенное империем. С учетом этого он предлагает расширить пространство для интерпретаций и датировок монет с легендами *L. Sulla imperator*, не связывая их только с провозглашением Суллы императором после битвы при Орхомене. Ассанмаке обращает внимание на средства пропаганды, использованные Суллой во время Первой Митридатовой и гражданской войн: с его точки зрения, в этот момент пропаганда имела особое значение, поскольку должна была доказать легитимность властных притязаний Суллы. Важное место среди этих средств, как известно, занимали монеты. Будущий диктатор перенял у марианцев образ триумфатора, куда менее канонический для римских монет, нежели образ Виктории. Впервые он появляется на денариях марианца Гая Фундания, а Сулла дополнил его легендой *L. Sulla imperator*. При этом Ассанмаке пересматривает датировку монет с легендами *L. Sulla imperator* и *L. Sulla imperator iterum* (см. ниже).

Особое внимание автор обращает на изображения на денариях и ауреях Суллы, выпущенных для финансирования кампании в Италии. Не совсем ясно, что символизируют эти изображения: кувшин и посох (*lituus*) в центре и два трофея по краям. Интересно присутствие на монетах Суллы именно двух трофеев, а не одного или трех, что более характерно для римских монет. В этом иногда видят отсылку к победам при Херонее и Орхомене. Однако такое изображение на монете с легендой *imperator iterum* заставляет предполагать связь с двукратным провозглашением Суллы императором. Таким образом, два трофея могут символизировать не сами установленные трофеи, а две главные победы его балканской кампании, которые сопровождались императорской аккламацией Суллы. Относительно же двух других символов, посоха и кувшина, автор полагает, что для Суллы важно было продемонстрировать легальность своей власти — именно в этом, видимо, и заключался их смысл (с. 209).

В начале карьеры Суллы незаметно, чтобы он особенно почитал какое-либо определенное божество (кроме разве что Аполлона, см. выше). Во время войны с Митридатом он начинает особо выделять Афродиту-Венеру. Однако Ассанмаке предлагает рассмотреть эту связь в контексте его отношения к другим богам, чтобы уяснить, в чем заключались ее особые функции. Так, трофеи, воздвигнутые после битвы при Херонее, Сулла посвятил не только Афродите, но и Аресу и Нике (см. выше). Арес и Афродита — достаточно распространенная пара в греческом мире, однако Ассанмаке обращает внимание также на важную роль, которую играли в римском пантеоне Марс и Венера, причем независимо друг от друга. Ассанмаке тоже рассматривает упоминавшийся выше эпизод с получением Суллой оракула, приводимого Аппианом: в отличие от Экерт он полагает, что сведения об этом оракуле отсутствовали в мемуарах Суллы, а процитированный ответ был правдоподобной подделкой. После возвращения в Италию Сулла вновь обратился к почитанию более привычного для римлян Аполлона. Если говорить о культе кровавой богини войны Ма-Беллоны, то Сулла, по мнению Ассанмаке, не случайно после битвы у Коллинских ворот собрал сенаторов именно в ее храме в то самое время, когда его воины убивали пленных самнитов неподалеку, на *Villa publica*. Это можно воспринимать как посвящение Беллоне, чей образ был призван легитимировать проскрипции и массовые казни (с. 241)¹³.

Интерес к Афродите-Венере, которая считается личной покровительницей Суллы, проявился у представителей его рода еще в середине II в.¹⁴ Однако уже упоминавшийся оракул и приписываемое Сулле прозвище Эпафродит свидетельствуют о его особом интересе к этой богине. Одной из наиболее привлекательных ее черт было покровительство троянцам, к которым себя возводили римляне, причем актуализация этой темы при отношениях с греками восходит по меньшей мере к Титу Квинцию Фламинину. Сулла, с одной стороны, следовал этой

¹³ Заметим, что расправа с самнитами не являлась частью проскрипций. Вероятнее, что на выбор места заседания повлияло иное обстоятельство — храм Беллоны был построен в честь победы над самнитами (Liv. X. 10. 17, 21; Ovid. *Fast.* VI. 199–208; Fündling 2010, 113).

¹⁴ Здесь автор ссылается на асс П. Суллы (*RRC* 205/2), полагая вслед за М. Кроуфордом (Crawford 1974, 250), будто корабль увенчивает голова Венеры, но это не более чем догадка; единственное известное нам изображение головы Венеры на носу корабля встречается на ассе Меммия, отчеканенном гораздо позже, в 106 г. (*RRC* 313/4), где перед ней отчетливо виден Купидон. В нашем случае ничего подобного нет.

традиции, с другой — пытался выстроить более тесные связи между собой и богиней. В этом смысле Цезарь, почитавший Венеру как свою божественную прародительницу, куда больше следовал традиции. Возвращаясь к херонейским триумфам, посвященным Афродите наряду с Аресом и Никой, стоит отметить важность для Суллы Венеры-Афродиты в роли *Venus Victrix*. По мнению Ассанмаке, в традиционном римском пантеоне Венера не считалась непосредственно богиней военной победы; таким образом, исследователь не согласен с теми, кто видит в почитаемой Суллой Венере чисто римское божество: речь идет об адаптации Суллой греческих традиций образа Афродиты.

Как полагает автор, чтобы понять особенности пропаганды Цезаря и Августа, необходимо обратиться к Сулле, который продемонстрировал очевидную преемственность в отношении политических традиций, заложенных Марием. Прославление военных побед привело к переосмыслению содержания титула «император», который появляется уже на монетах Суллы. Однако кампания в Греции стала для Суллы поворотным моментом, поскольку с этого времени он стал акцентировать в своей пропаганде не столько собственные победы, сколько благосклонность богов, которые даровали ему их, тем самым подтверждая его власть (с. 298). Вместе с изменением политической ситуации возросла и ценность монет как средства пропаганды: изображения на них перестают быть воспоминанием о деяниях отдельных родов и все больше содержат указания на текущую политическую ситуацию. Конструируя свой личный пантеон, Сулла не только опирался на римские традиции, но и придавал традиционным богам новые функции, как, например, это произошло с Венерой и Беллоной, и тем самым «обогащал» римский пантеон (с. 301–303).

Ассанмаке проработал большой материал, выводы его весьма интересны — в частности, идеи о развитии Суллой методов самопрезентации, заложенных Марием и его окружением, а также о росте значимости монет как средства пропаганды во время балканской кампании Суллы. В последнем случае, правда, требуется уточнить, что это диктовалось самой обстановкой, поскольку, отсутствуя в Италии, будущий диктатор просто вынужден был прибегать к монетной пропаганде больше, чем к открытой устной. Кроме того, Ассанмаке пытается увидеть скрытый смысл там, где его могло и не быть: например, апелляцию к царской идеологии в эллинистическом духе во время Аполлоновых игр, в которых сам же усматривает и аналогию с триумфом — празднеством вполне традиционным. Пышность же игр просто способствовала росту популярности Суллы, полезной для его дальнейшей карьеры.

Как уже говорилось, Ассанмаке выступает за передатировку монет с легендой *L. Sulla imperator*¹⁵. Если относить ассы, денарии и ауреи с легендой *L. Sulla imperator* к 83–82 гг., то игнорируется разница между *imperator* и *imperator iterum* (с. 263). Между тем, учитывая важность монет как средства пропаганды, в добавлении *iterum* нельзя не видеть смысловой нагрузки. По мнению Ассанмаке, монеты с надписью *imperator* были выпущены раньше, чем монеты с легендой *imperator iterum*, а не наоборот, как это представлено у М. Кроуфорда¹⁶. По сути, на монетах Суллы надпись *imperator* появляется впервые, причем сразу на аурее, что указывает на особое значение, которое Сулла придавал этой легенде. Ассанмаке допускает, что появление таких монет было связано с Союзнической войной, когда Суллу могли провозгласить императором, или же с походом на Рим в 88 г. Вторая версия кажется ему менее вероятной, поскольку во время похода у Суллы не было бы возможности заниматься выпуском монет; таким образом, исследователь предлагает датировать монеты 90–89 гг. Проквестором, ответственным за эти выпуски, Ассанмаке считает Луция Манлия, проконсула 78 г. Он признает, что главный аргумент против его гипотезы — это отсутствие монет *L. Sulla imperator* вкладах, датированных 90–82 гг. Однако, с его точки зрения, это может объясняться тем, чтоклады времен Союзнической войны и в целом 80-х годов вообще довольно редки. Хотя доводы Ассанмаке весьма основательны, следует учитывать, что Сулла, указав на двукратное провозглашение его императором, не обязательно должен был делать это всегда и позднее.

Политической саморекламе Суллы и отчасти Мария посвящена статья Эльке Штайн-Хёлькекампа «Власть, память и памятники: Марий, Сулла и борьба за общественное пространство»¹⁷. Автор отмечает, что Сулла, отказавшись от власти, не прекращал заботиться о своем

¹⁵ Assenmaker 2013, 247–277.

¹⁶ См. Crawford 1974, 80. Монеты *RRC* 367–368 он относит к 82 г. (*ibid.* 386–387).

¹⁷ Stein-Hölkeskamp 2013, 429–446.

имидже, еще за два дня до смерти продолжая писать мемуары. Однако их аудитория была узкой, куда больше людей могли видеть связанные с его именем памятники и постройку. Конная статуя Суллы на северной стороне Форума стояла между Комицием и Курией перед рострами; пространство вокруг памятника было связано с воспоминаниями еще о царских временах, рядом находились и памятники раннереспубликанского времени, а потому можно полагать, что выбор Суллой места для собственной статуи не был случайным. В то же время возведение таких статуй, начало которому и положил памятник диктатору, не происходило по доброй воле граждан, для Цицерона подобные случаи служили отрицательным примером. С одной стороны, данное мероприятие Суллы вписывалось в давнюю традицию прославления аристократов и их претензий на признание в общественном пространстве, с другой — резко нарушало ее, так как установка конной статуи смертного, да еще при его жизни, в Риме прецедентов не имела. Комиций, где ее установили, был местом, связанным с монополией государства на общественную память, и для подобных самопрезентаций требовалось одобрение политических институтов. «Установка позолоченной статуи на Комиции символизировала высшую точку и одновременно последний шаг в затянувшемся более чем на десять лет процессе, в ходе которого Сулла все более систематически нарушал устоявшиеся правила монументальной самопрезентации» (с. 435).

Помимо установки статуи, диктатор инициировал перестройку Курии по причине увеличения числа сенаторов, что, впрочем, также вызвало осуждение Цицерона (*Fin.* V. 2), и возведение Табулярия с его архитектурными новшествами; наконец, началось восстановление храма Юпитера Капитолийского. Капитолий был до предела насыщен памятниками. Среди них важное место занимала скульптурная группа, изображавшая выдачу Югурты Сулле, который, естественно, доминировал в этой композиции, тем самым претендуя на особое место в памяти римлян, хотя в действительности слава пленения нумидийского царя принадлежала Марию. В то же время победных памятников самого арпината посетители Форума уже не увидели бы, так как Сулла приказал их снести. Но полностью изгнать Мария из общественной памяти ему, конечно, не удалось. Острогу антагонизма между обоими политиками продемонстрировал резонанс, который вызвало восстановление Цезарем трофеев Мария. Когда после битвы при Фарсале «народ» удалил конные статуи Суллы и Помпея с Ростра, Цезарь приказал их восстановить, добавив к ним и собственную конную статую. «Таким демонстративным актом *clementia* он еще раз недвусмысленно отмежевался от коммеморативных практик Суллы и одновременно ясно дал понять, что борьба за господство в этом поле (*in Medium der Monumente*) отныне завершена. Вместе с тем был положен конец традиционным соревновательным коммеморативным практикам нобилитета, которые в конечном счете являлись выражением принципиального равенства [в среде] аристократии и ее коллективного главенства» (с. 444). Завершил этот процесс Август, монополизировавший контроль над ними и воздвигший на своем форуме статуи героев римской истории.

Статья Штайн-Хелькескамп представляет несомненный интерес, позволяя уточнить контекст мероприятий Суллы по созданию собственного образа. Однако в некоторых деталях согласиться с ней трудно: например, с тем, что посетители Капитолия в 79 г., видя изображения выдачи Югурты Сулле, вспоминали скандал, связанный с установлением этих статуй, — скорее всего память о нем померкла на фоне кровавых событий гражданской войны. Сомнительно также, что на аурее Манлия перед нами портрет Суллы — это была его конная статуя¹⁸, что не одно и то же, хотя, конечно, тоже выходило далеко за рамки обычая. Наконец, едва ли можно с уверенностью утверждать, будто конная статуя Суллы была воздвигнута в обход соответствующих процедур — в источниках об этом ничего не говорится (*App. BC.* I. 97. 451), но ничто не мешало Сулле получить формальное одобрение сената и народа.

Значительное внимание уделено самопрезентации Суллы в статье Карстена Ланге и Фредерика Вervата¹⁹. Они отмечают, что в послании сенату после окончания Первой Митридатовой войны Сулла не только восхвалял себя за победы над понтийским царем, но и не забыл перечислить прежние победы, а также, что еще важнее, ставил себе в заслугу защиту изгнанных Цинной, выразив возмущение, что «в награду» его объявили врагом, разрушили дом, и т.д. Он также угрожал вернуться и отомстить тем, кто нанес ущерб ему и всему Риму. Тем самым Сулла решительно изменил традиционные *litterae laureatae*, которые отправлял сенату победоносный

¹⁸ Crawford 1974, 397, «портрет портрета», по выражению Ф. Ноубл (Noble 2014, 230).

¹⁹ Lange, Vervaeke 2019, 17–28.

imperator, собираясь испрашивать триумф. Все это нашло отражение в дальнейших поступках Суллы: после сражения у Коллинских ворот он собрал граждан и объявил о грядущей расправе с врагами, а затем отпраздновал триумф не только над Митридатом, но (вопреки обычаю) фактически и над марианцами — хотя формально о них речи не шло, демонстрация во время триумфа золота, увезенного Марием Младшим из римских храмов, а также свита Суллы из изгнанников были явным намеком на то, что празднуется победа и в гражданской войне. Таким образом создавался важный прецедент (внешние враги принципиально не отделялись от внутренних), которому последовали Метелл Пий, Помпей, Цезарь, Август — «все они праздновали триумфы и овации по поводу побед в “смешанных” конфликтах, которые привели к разгрому враждебных римских группировок и чья главная черта состояла в том, что противники из числа римлян и неримлян оказывались союзниками на поле боя» (с. 19). Авторы отмечают, что при описании битвы при Сакрипорте Сулла подчеркивает разницу в потерях: 20 тысяч убитых и 8 тысяч пленных у неприятеля против 23 убитых у него. Это контрастирует с подходом Августа, который в мемуарах пишет лишь о 5 тысячах врагов, убитых при Акции, — минимум, необходимый для триумфа. Разница тем заметнее, что Сулла открыто вел гражданскую войну (да и сам термин *bellum civile*, как полагают Ланге и Верват, появился именно благодаря ему), тогда как основатель принципата представил ее как внешнюю. Именно описанием триумфа, как вслед за другими учеными склонны думать авторы статьи, и завершил мемуары Сулла, обсуждать же политические аспекты своей диктатуры не пожелал, ограничившись констатацией, что *res publica* стояла на краю гибели, от которой он ее будто бы спас.

Несомненно, ход мысли и конкретные наблюдения Ланге и Вервата весьма интересны и плодотворны, но кое-что, как кажется, требует поправок. Нет сколь-либо надежных свидетельств того, что современники восприняли триумф Суллы как празднование победы не только над Митридатом; нет сведений о прямых указаниях в триумфальных надписях, что золото захвачено именно у Мариа Младшего, а изгнанники в свите Суллы — и вовсе что-то загадочное: изгнанником был прежде всего он сам, да и все его соратники тоже, и неясно, отличал ли кто-то их в толпе от тех, кто бежал к Сулле от марианцев. Но даже если считать, что диктатор праздновал также победу над марианцами, сравнение с триумфами Помпея, Метелла Пия, Цезаря и Августа не вполне корректно: авторы сами отмечают, что те вели войны, где их недруги-римляне оказывались союзниками внешних врагов, в случае же с Суллой мы имеем дело с двумя разными войнами — Митридатовой и гражданской (то, что марианцы сражались бок о бок с самнитами, ничего не доказывает, поскольку самниты в триумфе не фигурировали). Наконец, говоря о контрасте в цифрах потерь у Суллы и Августа, Ланге и Верват забывают упомянуть о Цезаре, который в рассказе о сражении при Фарсале пишет о 15 тысячах погибших у Помпея при менее чем 230 у своих (*BC. III. 99. 1 и 4*). Таким образом, Цезарь идет здесь по стопам Суллы (хотя в других случаях старается противопоставлять себя ему), а Август отказывается следовать не только Сулле, но и почитаемому им приемному отцу.

Интересный вопрос о сравнении Суллы с Коммодом, Септимием Севером и Каракаллой рассматривает Кшиштоф Крульчик²⁰. Коммод со 184 г. н.э. (а со 185 г. регулярно) стал, подобно диктатору, именоваться *Felix*. О причинах этого можно лишь строить предположения, но примечательно, что античные авторы пишут о нем как о новом Сулле в связи с убийствами (*caedes*) граждан (*SHA. Comm. 8.1*), а не с военными или государственными свершениями. Участь Коммода на первый взгляд отличается от судьбы «счастливого» Суллы: он был убит и объявлен врагом, а его статуи уничтожены, но уже через три года Север осуществил *restitutio metoŕiae* последнего Антонина и велел почитать его как *Divus Commodus*. Септимий Север восхвалял Суллу наравне с Марием и Августом за жестокость по отношению к врагам (сообщение об этом современника Диона Кассия вполне правдоподобно), порицая Помпея и Цезаря за мягкость, погубившую их. Это являло собой очевидный контраст с пропагандой *clementia* Клодием Альбином. Репрессии со стороны Севера не приобрели формы проскрипций, но все же вызывали воспоминания о них. В *SHA. Nig. 6. 3–4* он весьма нелестно именуется *Sulla Punicus*, хотя другие сенаторы считали его скорее Марием. Любопытно, что прозвище *Felix* носил и современник Севера неуловимый разбойник Булла, в чем усматривается параллель, основанная на сходстве имен (*Sulla Felix* — *Bulla Felix*). Что же касается Каракаллы, то он восхищался Суллой наряду с Тиберием и подражал его жестокости, восстановил его надгробный памятник,

²⁰ Królczyk 2014, 159–175.

воздвигал ему статуи, а после убийства Геты поносил сенат и народ, угрожая, что станет вторым Суллой. После избиения варваров в Реции он одарил (*donavit*) воинов так, словно это были солдаты Суллы (*SHA. Carac.* 5.4), — единственное сравнение с диктатором в связи не с жестокостями (под уничтожением варваров явно имеется в виду победа над ними), а с щедростью. К. Крульчик высказывает интересное предположение, что под *donavit* подразумеваются земельные раздачи армии, действительно возобновленные Каракаллой после их прекращения при Адриане.

Таким образом, Сулла оставался частью дискурса той эпохи, но представления о нем были весьма схематичны, помнили преимущественно о его жестокости. При этом Каракалла оказался единственным, кто не только обозначал свою связь с диктатором, но и вполне сознательно демонстрировал *imitatio Sullae*. Думается, однако, что для такого вывода оснований недостаточно, поскольку эта *imitatio*, возможно, является плодом субъективного восприятия в наших не особенно надежных источниках. Жестокости Каракаллы не заключали в себе чего-то специфически сулланского, а раздачи земли воинам могли быть не подражанием диктатору, а просто продолжением (наряду с повышением жалования) политики Севера по отношению к армии.

Несколько работ посвящено образу Суллы у древних авторов. Федерико Сантанджело обращается к такой традиционной теме, как образ Суллы в «Югуртинской войне» Саллюстия²¹. Писатель, вводя Суллу в рассказ, дает ему пространную характеристику, которой другие герои этого сочинения при первом упоминании не удостаиваются. Таланты и добродетели его многообразны: ему присущи величие духа (*ingens animus*)²², усердие (*industria*), стремление к славе, берущее верх над любовью к наслаждениям (*cupidus voluptatum, set gloriae cupidior*: *Sall. Jug.* 95. 3–4). Все это быстро находит подтверждение в ходе боевых действий, в успехе которых роль Суллы очень велика. Но Сантанджело обращает особое внимание на упоминание его красноречия (*facundia*) и умения притворяться (*ad simulanda negotia altitudo ingeni incredibilis*). В описании Саллюстия поначалу именно умением вести разговор и давать советы, т.е. словами, а не делами, что неожиданно для военной обстановки, Сулла завоевывает доверие как Мария, так и простых воинов. (Здесь автор не совсем точен, поскольку признает, что Сулла охотно оказывал услуги, *per se ipse dare beneficia*, а это уже не только слова.) Особенно ярко его владение словом и умение перевоплощаться демонстрируется в переговорах с Бокхом, которые, невзирая на все колебания царя, заканчиваются выдачей Югурты римлянам (этот сюжет разобран в статье особенно подробно). Но несмотря на центральную роль Суллы в последней части *Bellum Iugurthinum*, в ее заключительной главе он отсутствует. В то же время сообщение, что Югурту доставляют в Рим в цепях (114. 3), по мнению Сантанджело, содержит указание на политическое соперничество и борьбу за военную славу. В погоне за ней Сулла велит изготовить перстень с изображением выдачи ему Югурты, а позднее на Капитолии появляется скульптурная группа на тот же сюжет, что обостряет отношения между Суллой и Марием, выливающиеся в конце концов в гражданскую войну. Таким образом, в заключительных строках «Югуртинской войны» содержится намек на смуту 80-х годов. Спорить с этим не приходится, но скорее такой намек связан с образом Мария, о котором идет речь в последней фразе²³.

Александр Тейн анализирует восприятие милосердия Суллы в античной традиции²⁴. Ученый отмечает различные акценты в рассказе об освобождении Суллой в 83 г. Л. Сципиона, чью армию он переманил на свою сторону. Веллей Патеркул (II. 25. 2–3) подчеркивает милосердие будущего диктатора и сокрушается, что после победы тот сменил ее на невероятную жестокость. Диодор же видит здесь также случай противопоставить *ἐπιείκεια* (*clementia*) Суллы вероломству отпущенного им Сципиона (38/39. 16), т.е. поведение первого позволяет подчеркнуть дурные качества второго. Сходная ситуация и со взятием Афин: Страбон пишет, что Сулла наказал угнетавшего афинян тирана Аристиона, но пощадил сам город, причем указывает на сохранение римлянами демократии в Афинах (IX. 1. 20). Это редкий случай безоговорочного восхваления Суллы в связи с данным сюжетом, причем делается акцент на филэллинизме римлян и тирании Аристиона, которому противопоставляется Сулла. Такая же антитеза и в случае

²¹ Santangelo 2019, 107–124.

²² Автор указывает на параллель с Марием (63.2: *animus belli ingens domi modicus*) и отчасти Югуртой (8.1: *non mediocris animus*).

²³ См., например, Syme 1964, 176.

²⁴ Thein 2014, 166–186.

с Илионом: Фимбрия разорил город, Сулла же помог его восстановлению (XIII. 1. 27). Интересен подход Плутарха: поначалу Сулла не желает следовать филэллинской традиции, отказываясь слушать рассуждения афинских послов о прошлом величии их города, и по взятии начинает его разгром, но в конце концов милует уцелевших ради того самого прошлого, что являет собой несомненный акт филэллинизма (*Sull.* 13. 5; 14. 9). Кроме того, случившееся дает повод сравнить Суллу с Лукуллом, который, как уже говорилось, не сумев предотвратить гибель Амиаса от пожара, уподоблял себя разрушителю Коринфа Муммию и завидовал удаче Сулле, который смог спасти Афины. У Аппиана (*Mithr.* 62–63) Сулла в речи перед эллинами ссылается на доброе отношение римлян к ним и тем объясняет свой отказ от жестокой расправы с греческими городами Малой Азии, требуя лишь выплат, но их тяжесть доводит города до бедственного состояния и милосердие Суллы оказывается мнимым. У Павсания он изображается как человек, предавший идеи римского филэллинизма (см. выше), символом чего оказываются Афины, так и не восстановленные до времени Адриана — истинного филэллина и антипода Суллы.

Тейн предлагает свое объяснение сути милосердия Суллы у Аппиана, рассмотрев эпизоды с Фимбрией, Сципионом и Цетегом (*Mithr.* 60; *BC.* I. 80. 369; 86. 388). В случае с первыми двумя оно состоит в том, что оба получают свободный проход. Но Сципион, отказавшись присоединиться к победителю, уходит, свободный от обязательств перед ним, а Фимбрия, напротив, кончает с собой. Цетег же приходит к Сулле в качестве умоляющего, и последний являет ему то истинное милосердие, которое, по мнению Аппиана, невозможно без примирения. Ведь Фимбрия просил о снисхождении, но получил лишь право уйти. Если же предположить, что Фимбрия хотел примкнуть к победителю, но получил отказ, его самоубийство еще более понятно; недаром в *BC.* IV. 8. 32 указывается, что те, кого Цезарь пощадил, стали его друзьями. Проводится параллель и с текстом Плутарха (*Sull.* 6. 14), по словам которого Сулла при необходимости мог сдержать гнев и простить тяжкую обиду. Суждение интересное, однако ни Аппиан, ни Плутарх в указанных случаях о милосердии не пишут.

Образ Суллы в труде Диона Кассия рассматривает Жанпаоло Урсо²⁵. В центре его внимания речь Септимия Севера в сенате после победы над Клодием Альбином, где одобряются Марий, Сулла и Август за их жестокость по отношению к врагам (LXXVI[LXXVII]. 8. 1–4). Сулла выступает в труде Диона как пример насилия и жестокости в отношении политических противников. В этом смысле он противопоставляется Цезарю: после битвы при Тапсе сенаторы опасались репрессий, но Цезарь успокоил их. У Диона он подчеркивает свое отличие от Мария, Цинны и Суллы, которые, пока боролись за власть, притворялись человеколюбивыми, но по достижении успеха повели себя совсем иначе, тогда как он, Цезарь, не таков. Как люди, не менявшие своего поведения, характеризуются Марк Аврелий и Пертинакс. Север же нарушил обещание не казнить сенаторов. Причем если критика Суллы из уст Цезаря не удивляет, то порицания в адрес его дяди Мария и тестя Цинны звучат в высшей степени странно, это явно домысел самого Диона, который, возможно, дает таким образом ответ на речь Септимия, напротив, хвалившего Мария и Суллу за жестокость. О нежелании подражать Марию, Цинне и Сулле говорит у Диона перед самоубийством и Отон — перед нами, надо полагать, намеки на ситуацию конца II в. н.э., и выступление Цезаря в сенате после Тапса — «идеальная» речь, которую хотел бы услышать историк от Септимия после разгрома Клодия Альбина. Марий упоминается наряду с Суллой как пример жестокости, которому не хотя подражать триумвиры, а также в пересказе их декрета о проскрипциях, хотя Аппиан (*BC.* IV. 10. 39) в аналогичной ситуации пишет только о Сулле²⁶. Тем не менее последний остается в глазах Диона кровожадным чудовищем, каким он считался еще в конце Республики.

Но моральная и политическая оценки — не одно и то же, и здесь суждения Диона неоднозначны. С одной стороны, историк называет режим Суллы *δυναστεία* или, лучше, *δυναστεία* (незаконная и насильственная система власти), с другой — в речи Агриппы (LII. 13. 2) относит его к числу людей, не желавших *δυναστεύειν* (в их число курьезным образом вновь попадает и Марий), а во фр. 109. 2 называет его правление *ἐξουσία*.

Кроме того, если, например, Дионисий Галикарнасский связывал поворотный пункт в развитии диктатуры с Суллой, который превратил ее в жестокую тиранию, то Дион Кассий счи-

²⁵ Urso 2016, 13–32.

²⁶ Отметим, что при описании проскрипций, выражая уже собственное мнение, Аппиан упоминает не только Суллу, но и Мария (*BC.* IV. 16. 62).

тает ключевым моментом правление Цезаря, сделавшего диктатуру бессрочной, Сулла же, как дается понять в речи Катюла (XXXVI. 31. 4), отказался от нее еще в конце 81 г. и не совмещал ее с консулатом в 80 г. В итоге Сулла в глазах Диона — жестокий правитель, но не тиран, а его диктатура — не *δυναστεία*, поскольку он не извратил ее характера, а приспособил к новым условиям. Такой подход можно объяснить как использованием источников разной направленности, так и различием диктатуры и проскрипций, которые начались за несколько недель до введения диктатуры. Кроме того, Диона беспокоило не ответственное участие граждан в управлении, а внешне «правильное» функционирование государства. Образец такового и представляла собой диктатура Суллы: жестокости, бесспорно, совершались (и здесь ясно угадываются намеки на Севера), но в институциональном смысле его режим соответствовал римским традициям, в развязывании же гражданской войны в глазах Диона главную роль сыграл Марий. «Отсюда его оценка Суллы как *exemplum* жестокости и “республиканского” диктатора одновременно. Создавая этот сложный образ, Дион продемонстрировал свою независимость от общих мест предшествующей историографии» (с. 32).

В статье Александры Экерт разбираются воззрения Умберто Лаффи и Франсуа Инара на образ Суллы. Как считает Лаффи, до прихода к власти Цезаря образ этот был сугубо положительным, а сулланские нововведения оставались в силе и после законодательства 70 г. Лишь после 49 г. все изменилось, поскольку победа Цезаря означала торжество враждебной Сулле традиции, в результате чего и сложился миф о нем как об отрицательном герое римской истории. Эти идеи развил Инар. По его мнению, на память современников о Сулле повлияла особая расстановка акцентов, что предотвратило возникновение мифа о нем во времена Поздней республики. Лишь в эпоху Августа Сулла стал восприниматься как *exemplum* жестокости. Ответственность за проскрипции второго триумвирата пропаганда приписала Антонию, изображая его кровавым тираном; это представление распространилось затем на Суллу как их зачинателя. Завершилось формирование отрицательного образа диктатора в трудах Сенеки. Экерт показывает, что в действительности еще при жизни Сулла воспринимался многими как жестокий тиран, а возвращение трибунам всех полномочий и реформа судов, возможно, отвечали желанию большей части римского общества, и хотя они не стали революцией в отношении сулланских реформ, все же заметно изменили баланс сил в римской политической системе²⁷.

Итак, образ Суллы, каким он хотел преподнести его сам и каким он виделся современникам и потомкам, продолжает интересовать ученых. Привлекательность этой темы в том, что она находится на стыке политической истории и истории культуры, давая больше возможности исследователям для самовыражения. И хотя при этом историки порой склонны видеть в источниках больше, чем в них содержится, в целом исследования данной тематики вполне плодотворны. Все они с разных сторон подтверждают очевидный, но оттого не менее верный тезис, что Сулла, при всей своей консервативности и даже реакционности, оказывался новатором.

Литература / References

- Assenmaker, P. 2013: *L. Sulla imperator et imperator iterum: pour une réévaluation de la chronologie des émissions monétaires de Sylla (RRC367–368 et 359)*. *Revue Numismatique* 170, 247–277.
- Assenmaker, P. 2014: *De la victoire au pouvoir. Développement et manifestations de l'idéologie impériale à l'époque de Marius et Sylla*. Bruxelles.
- Crawford, M.H. 1974: *Roman Republican Coinage*. Vol. I. Cambridge.
- Eckert, A. 2016: *Lucius Cornelius Sulla in der antiken Erinnerung. Jener Mörder, der sich Felix nannte*. Berlin–New York.
- Eckert, A. 2019: Reconsidering the Sulla myth. In: A. Eckert, A. Thein (eds.), *Sulla Felix: Politics and Reception*. Berlin–Boston, 159–172.
- Fündling, J. 2010: *Sulla*. Darmstadt.
- Królczyk, K. 2014: “Ein neuer Sulla”. Zur Rezeption Sullas in der Hohen Kaiserzeit: Commodus, Septimius Severus und Caracalla. In: D. Słapek, I. Łuć (eds.), *Lucius Cornelius Sulla. History and Tradition*. Lublin, 159–175.

²⁷ Eckert 2019, 159–172.

- Lange, C.H., Vervaeke, F.J. 2019: Sulla and the origins of the concept of *bellum civile*. In: C.H. Lange, F.J. Vervaeke (eds.), *The Historiography of Late Republican Civil War*. Leiden–Boston.
- Noble, F.M. 2014: *Sulla and the Gods. Religion, Politics, and Propaganda in the Autobiography of Lucius Cornelius Sulla*. Ph.D. Diss. Newcastle.
- Ridley, R.T. 2000: The dictator's mistake: Caesar's escape from Sulla. *Historia* 49. 2, 211–229.
- Santangelo, F. 2019: Sulla in the *Bellum Jugurthinum*. In: A. Eckert, A. Thein (eds.), *Sulla Felix: Politics and Reception*. Berlin–Boston, 107–124.
- Stein-Hölkeskamp, E. 2013: Macht, Memoria und Monumente. Marius, Sulla und der Kampf um den öffentlichen Raum. *Klio* 95, 429–446.
- Syme, R. 1964: *Sallust*. Berkeley–Los Angeles.
- Thein, A. 2014: Reflecting on Sulla's clemency. *Historia* 63. 2, 166–186.
- Urso, G. 2016: Cassius Dio's Sulla: exemplum of cruelty and republican dictator. In: C.H. Lange, J.M. Madsen (eds.), *Cassius Dio. Greek Intellectual and Roman Politician*. Leiden–Boston, 2016, 13–32.
- Vaucher, D. 2017: Rev.: Alexandra Eckert, Lucius Cornelius Sulla in der antiken Erinnerung: Je-ner Mörder, der sich Felix nannte. Berlin–Boston, 2016. *Bryn Mawr Classical Review* 2017.02.22.

Anton V. Korolenkov,
State Academic University
for the Humanities,
Moscow, Russia
E-mail: sallust@list.ru

А.В. Короленков,
к.и.н., доцент Государственного
академического университета
гуманитарных наук,
Москва, Россия

Maria N. Kirillova,
Institute of World History,
Russian Academy of Sciences;
Bauman Moscow State Technical University,
Moscow, Russia
E-mail: mnkirillova@bmstu.ru

М.Н. Кириллова,
к.и.н., н.с. Института всеобщей истории РАН,
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва, Россия